

Э. А. К. Васянский

ИММАНУИЛ КАНТ  
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ  
ЖИЗНИ<sup>1</sup>

К домашнему быту Канта неотъемлемо принадлежит и его первый слуга, *Мартин Лампе*. Родом он был из Вюрцбурга, служил солдатом в прусской армии и после выхода в отставку устроился на службу к Канту, на которой он состоял около 40 лет. Поначалу, когда Лампе старался, Кант очень дорожил им и был к нему очень благосклонен. Но как раз эта либеральность Канта и была причиной того, что Лампе предался дурной привычке, к которой его спровоцировал также высокий доход. Он злоупотреблял самым непотребным образом добротой своего господина, вымогал у него прибавку к жалованью, приходил домой не вовремя, бранился с домработницей и вообще становился с каждым днем все менее способным служить своему господину. Это изменение в поведении неизбежно повлекло за собой изменение в отношении к нему со стороны *Канта*, принявшего решение избавиться от него, исполнение которого с каждым днем откладывалось все дальше. У меня были основания полагать, что *Кант* выражал это намерение не просто как угрозу или попытку воспитать *Лампе*, но всерьез, поэтому я каждый раз пытался найти аргументы для его смягчения и способствовать отсрочке его исполнения, особенно потому, что предвидел, при всей неизбежности расставания, какими большими трудностями оно обернется для *Канта*, меня, *Лампе* и нового слуги. Слуга, который, как и Кант, был уже седым, но

© Зильбер А. С., пер. с нем., 2012

© Копцев И. Д., редакция перевода с нем., 2012

<sup>1</sup> Продолжение, начало см. в: *Кантовский сборник*. 2012. №2 (40). С. 65–78; 2012. №3 (41). С. 88–95.

Перевод с немецкого текста Э. А. К. Васянского осуществлен в рамках проекта «Центр переводов и межкультурной коммуникации» Федеральной программы развития БФУ им. И. Канта и выполнен по изданию: *Immanuel Kant: sein Leben in Darstellung von Zeitgenossen / die Boigr. von L. E. Borowski, R. B. Jachmann und E. A. Ch. Wasianski / Hrsg. von Felix Gross. Neudr. der Ausg. Berlin 1912 / mit einer neuen Einl. von Rudolf Malter. Darmstadt, 1993. S. 191–271 (Иммануил Кант. Его жизнь в описании современников. Биографии Л. Э. Боровского, Р. Б. Яхмана и Э. А. К. Васянского / под ред. Феликса Гросса. Печ. по Берлинскому изданию 1912 г./ вступ. ст. Р. Мальтера. Дармштадт, 1993. С. 191–271).*

вел себя по отношению к нему неподобающе, должен был быть уволен. Они оба привыкли друг к другу: мне приходилось быть посредником между ними. *Кант* бы пожалел об увольнении, а тот мог бы настаивать на том, чтобы его взяли обратно. Но насколько далеко, однако, зашла бы грубость *Лампе* в отношении ко мне и *Канту*, если бы он получил столь явное свидетельство его незаменимости? И где можно было в любой момент и с легкостью взять слугу верного, пристойного, который сумел бы подстроиться к старым привычкам *Канта*? Итак, я часто пытался предотвратить этот надвигавшийся удар грома, причем сделать это безболезненно; хотя мое знание характера *Канта* позволяло с уверенностью предполагать, что если бы он однажды со всей серьезностью решился уволить *Лампе*, то ничто не могло бы легко заставить его отказаться от этого намерения — что в результате и произошло.

Теснейшим образом Кант сочетал в себе мягчайшее сердце с непреклоннейшим характером. Если он когда-либо просто давал свое слово, то при его непоколебимой стойкости оно было более ценным, чем от иного клятвы. И эта надежность часто облегчала мне перенаправление его желаний во благо ему, в то время как исполнение их в изначальном виде грозило простудой, расстройством пищеварения и другими хворьями. Предъявив основания, особенно то, что его тело в старости уже не могло выносить того, что было для него возможно в молодые годы, достаточно было один раз получить согласие на мое предложение — и даже сильнейшее желание подавлялось. Он пообещал следовать моим советам относительно полезности вещей — и он делал это.

Некоторые его сотрапезники утверждали, что ни за что на свете не справились бы с теми тяготами, которые я вынес, заботясь о Канте, и жалели меня. Но я себя никогда не жалел и уверяю вас: та помощь, которую я оказывал Канту, не может быть названа тяготами. При его слабости и беспомощности я, конечно, стал для него потребностью, но он был для меня чем-то определенно намного большим. Я был для него желанным гостем, он для меня — еще милее, и я не мог прожить ни дня без того, чтобы не повидать его и не порадоваться за него, особенно в последние годы его жизни. Находясь у него, даже будучи обеспокоен его состоянием, я никогда не позволял себе нотки малодушия в голосе, которых терпеть не мог этот человек, мужественно дававший отпор приближавшимся невздам возраста. Он был не настолько дряхлым, чтобы нуждаться в сочувствии. Оживленной и доверительной была моя речь, обращенная к нему. Так что он и не требовал жалостливого утешения. Моего призыва: *Non, si male nunc, sic erit et olim*<sup>2</sup> — ему было достаточно. Такое непринужденное, дружеское утешение порой подбадривало его настолько, что он часто называл меня своей отрадой — именем, в котором выражала себя его слабость. Трогательно было обнаруживать его сидящим у двери с часами в руках в ожидании минуты моего прихода, что часто бывало в его последние дни, когда он был настолько слаб, что больше не мог писать и читать. После долгого одиночества ему очень сильно хотелось общаться. Могло ли при всем этом для меня быть в тягость посещать его каждый день без исключения?

После стольких лет знакомства, общения и доверительных отношений (я имею моральное право употреблять это выражение, потому что у него

---

<sup>2</sup> Если плохо сейчас — не всегда же так будет (лат.); здесь и далее примечания и комментарии переводчика.

уже долго не существовало от меня никаких тайн) было неизбежным, что мы друг друга уже настолько хорошо узнали. Если в таком случае человек неколебимо твердого, основанного на проверенных принципах характера, прекрасно осознавая, что он говорит, солидно, серьезно, решительно и доверительно мне заявляет: «Дорогой друг, когда Вы находите какую-либо вещь полезной для меня, а я — нет; когда я принимаю ее за бесполезную и вредную, но Вы советуете ее мне, — я одобрю и приму ее», — и если этот человек действительно так сделал; если, вдобавок, в таком деле, где требовалось участие других, каждый приглашенный был рад и старался помочь Канту; если его поручения были такого рода, что никакой порядочный человек для того, чтобы их выполнить, не стал бы и на секунду останавливаться и советоваться об этом со своей совестью; если можно было, не опасаясь возражений, ожидать во всем только содействия и предупредительности, — то, пожалуй, становится понятно, что принятие на себя ответственности за дела *Канта* не было так тягостно, как кажется на первый взгляд. Кант был и остался земным человеком, чья слабая поступь часто подвергалась колебанию, но его могучая душа — никогда.

Поэтому такой смелый шаг, как разлука со своим старым слугой, мог попробовать и успешно осуществить тоже только он сам. Еще до того, как это состоялось, я понимал невозможность того, чтобы *Кант*, который из-за слабости ног часто падал, мог быть предоставлен уходу со стороны одного только своего слуги, который сам часто был не в состоянии держаться твердо и, по многим очень разным причинам, имел ту же судьбу, что и его господин. Кроме того, в надежде купить себе мир и покой Кант снова и снова потакал склонностям вымогавшего у него деньги Лампе, и тот опускался все ниже. Ко всему этому прибавилось и то, что ввиду нового правила просить и получать деньги только от меня и ввиду серьезности, с которой я пресекал любое нарушение этого правила, он осознал всю несбыточность своих надежд вернуться к столь приятному для него *Status quo*. Впоследствии он считал себя почти стесненным своим окладом и уже находил свою службу у *Канта*, по сравнению с прежними — лучшими, золотыми — временами, не такой уж исключительно выгодной. К тоске по лучшим временам могла многое прибавить также иная мера, о которой упоминалось выше. Но если даже представить себе, что всех этих осложнений не было, то хотя бы то обстоятельство, что силы слуги *Канта* убывали, велело непременно задуматься о том, чтобы его место занял человек подвижный и полный сил. Я вовремя провел подготовительные мероприятия и встретил переломный момент во всеоружии: я искал, нашел и выбрал слугу, и устроил его на временную работу, с которой он мог уйти в любой момент. Я часто говорил с Лампе, то мягким, то строгим тоном, о решении его хозяина распрощаться с ним, исполнение которого становилось всё ближе, обращал внимание на его печальную в будущем участь, давал ему довольно внятные советы в том смысле, что если он хорошо будет себя вести, то не только он, но и его жена и ребенок будут счастливы. Я был солидарен с его супругой, которая со слезами умоляла его подумать о своем собственном благе. Он обещал стать лучше, а становился — хуже. Наконец, в январе 1802 [года] настал такой день, когда *Кант* высказал мучившее его признание: «*Лампе* повел себя в отношении меня так, что мне стыдно об этом рассказывать». Я не допытывался и не знаю, что это был за проступок, без сомнений тяжкий. *Кант* настаивал на увольнении, хотя и без злобы, но с мужественной

решимостью. Его просьбы ко мне были настолько неотложными, что я еще раньше, чем другой его сотрапезник, счел себя обязанным встать из-за стола и привел стоявшего в готовности слугу *Йохана Кауфмана*. *Лампе* понятия не имел, что происходит. *Кауфман* подходит, Кант смотрит на него, тут же проявляет свой характер и говорит: он кажется мне человеком спокойным, честным и благоразумным. Если он согласен во всем следовать указаниям вот этого моего друга, то я ничего против него не имею; он лишь должен в точности исполнять то, что тот ему скажет; то, о чем он с ним договорится, — то я также одобрю, и это он должен в точности получать. Таким образом, *Кант* уже в первом разговоре со своим слугой позаботился о том, чтобы поднять мой авторитет в его глазах. На следующий день *Лампе* был уволен с начислением годовой пенсии и прописанным по суду условием: она прекратится, как только *Лампе* или какой-либо посланник от него начнут беспокоить *Канта*.

Слуга *Йохан Кауфман* был как будто создан для *Канта* и вскоре обнаружил искреннюю личную симпатию и привязанность к своему хозяину. После его появления в доме *Канта* прежнее положение вещей в нем приняло совсем другой, более благоприятный вид. Единодушие между слугой и домработницей *Канта*, с которой *Лампе* прежде был в постоянной ссоре, а *Кауфман*, как и должно быть, сумел поладить, привело к воцарению в доме философа спокойствия, прежде нарушаемого шумными перебранками, о которых *Кант* не всегда знал. Теперь он мог спокойно проводить свои дни без огорчений, неизбежно происходивших раньше из-за частых досадных инцидентов. Сколь великодушно он простил *Лампе*, столь же нужным он, однако, счел также изменить свое прежнее, почти чрезмерно благосклонное, распоряжение в отношении него и выделить ему лишь 40 талеров пенсии на весь остаток его жизни. Во втором, и поэтому сохранившемся, дополнении к своему завещанию он самым явным образом показал свое благородство и великодушие. Он изменил предложенное ему начало о побудительных причинах и т.п., гласившее: «Неподобающее поведение Л. привело к необходимости...». Об этих словах он отозвался так: «А этот оборот ведь можно было бы смягчить». Это дополнение внесено через двадцать шесть дней после увольнения *Лампе*, и в нем не было ни следа от справедливого негодования. *Лампе* имел право потребовать свидетельство о своей службе, я вручил его *Канту*. Он долго раздумывал, что написать в графе оценки его поведения, которую я оставил незаполненной. Я при этом воздерживался от всякого совета, который мог бы послужить его одобрению. Наконец, он написал: «он вел себя преданным, но для меня (*Канта*) уже более не подходящим образом».

Чем больше [мы] общались с *Кантом*, тем больше узнавали его скрытые положительные стороны и тем более достойным уважения он представлялся. Это проявилось и в нынешних переменах. Своим образом жизни, который в течение длинной вереницы лет был упорядоченным и однообразным, он настолько привязался к мельчайшим деталям, что даже ножницы или перочинный нож, не то что сдвинутые на пару дюймов от их обычного места, но хотя бы повернутые в необычном направлении, уже беспокоили его. А уж перестановка более крупных вещей в его комнате, например стула, либо увеличение или уменьшение количества этих стульев в его общей комнате — совершенно выбивали его из колеи, и его взгляд до тех пор останавливался на этом месте, пока старый порядок вещей не бывал полностью восстановлен.

Поэтому казалось невозможным, чтобы он мог привыкнуть к новому слуге, чей голос, чья поступь и т.д. были для него совершенно чужими. Но и при слабости тела он сохранял достаточно силы духа, чтобы в итоге все же привыкнуть к тому, что делало необходимым уникальное положение вещей, особенно если оно было санкционировано его словами. Лишь громкий тенор, режущий и похожий на трубу, как он его описывал, раздражал его в новом слуге. «Он хороший человек, но он слишком громко окликает меня», — вот и весь его отзыв, в котором были смешаны кротость и жалобное нетерпение. А тот в течение нескольких дней привык говорить тише, и все было в порядке.

Этот новый слуга хорошо писал и считал и так много выучил в школе, что правильно произносил любое латинское выражение, имена друзей хозяина и названия книг. В этом пункте правильного именованья вещей и произнесения слов *Кант* и *Лампе* никак не могли договориться и жили в постоянной ссоре друг с другом, которая часто давала повод к воистину потешным сценам, особенно когда *Кант* подсказывал старому уроженцу Вюрцбурга имена своих друзей и названия книг.

За более чем тридцать лет, в течение которых *Лампе* дважды в неделю приносил и снова уносил номера Хартунгской газеты и каждый раз, чтобы не спутать их с гамбургскими газетами, выслушивал от *Канта* ее название, он не мог его запомнить. Он называл ее Хартманской газетой. «I was Hartmannsche Zeitung!»<sup>3</sup> — ворчал Кант с мрачным лицом. Он выговаривал это название очень громко, эмоционально и членораздельно: «Скажи Хартунгская газета!». В этот момент бывший солдат стоял словно с ружьем на плече и, раздосадованный на то, что *Кант* заставлял его что-то учить, жестким тоном, каким он некогда говаривал «Стой, кто идет», произносил «Хартунгская газета», но в следующий раз снова называл ее неверно.

С его новым слугой эти уроки культурного просвещения стали совсем другими. Если *Канту* вспоминались какие-либо стихи из латинских поэтов, то тот мог их не только весьма верно записать, но порой и выучивал наизусть, и даже мог декламировать, когда *Кант* не мог их вспомнить, как это было со стихом *Utere praesenti; coelo committe futura*<sup>4</sup>, который я подсказывал *Канту*, в моменты уныния говорившему о том, что ждет его ввиду его слабости в конце, и который *Кант*, поскольку он раньше никогда не знал его наизусть, часто снова забывал. Его слуга подсказывал ему верно. Я иногда помогал ему с переводом и объяснением. Этот контраст и резкое отличие от *Лампе* часто побуждали *Канта* к следующей оценке его нового слуги: «Он человек разумный и умный».

За день до его вступления в должность я составил новому слуге целый список привычек и нравов *Канта* в режиме дня, даже самых мелких и незначительных, и он очень быстро усвоил их. Он должен был только предварительно оповещать меня о своих действиях и, имея привычку делать все быстро, он приступил к своим обязанностям. Поэтому уже его первые услуги прошли настолько удачно, что казалось, будто он уже долгие годы накрывал на стол у *Канта*. Большую часть первого дня я присутствовал при этом, чтобы намеками, которые он прекрасно понимал, все направлять и предотвратить любое, даже мельчайшее столкновение с привычками и

<sup>3</sup> Я сам бывал Хартунгской газетой! (англ.).

<sup>4</sup> Пользуйся настоящим, будущим распорядится небо (лат.).

обычаями *Канта*. О них я был в результате долгого общения с ним очень точно осведомлен, и только при его чаепитии не присутствовал ни один смертный, кроме *Лампе*. Чтобы расставить все необходимое для этого, я был на месте уже в 4 утра. *Кант*, как обычно, встал незадолго до 5 часов, обнаружил меня и был очень сильно неприятно удивлен моему визиту. Я спросонья не смог сразу объяснить ему цель моего присутствия. Здесь бы пригодилась хорошая подсказка. Никто не знал, где и как должен был быть поставлен чайный столик. *Кант* был в замешательстве из-за отсутствия *Лампе* и присутствия меня и нового слуги, нигде не находил себе места, пока наконец сам окончательно не проснулся. Тут он самостоятельно уселся за чайный столик, но все еще недоставало чего-то, на что сам *Кант* не мог указать. Я сказал, что хотел бы вместе с ним выпить чашку чая и выкурить трубку. Он, из своего человеколюбия, отнесся к этому с уважением, но я видел, что он заставляет себя сделать это. Ему по-прежнему было неуютно. Я сидел прямо напротив него. Наконец он обратил на это внимание и очень вежливо попросил меня сесть так, чтобы ему не было меня видно, потому что уже больше полувека вокруг него во время чаепития не было ни одной живой души. Я исполнил его просьбу, *Йохан* ушел в соседнюю комнату и вернулся лишь тогда, когда *Кант* его позвал. Теперь все было как положено, *Кант* привык, как я уже упоминал выше, пить свой чай в одиночестве и при этом совершенно беспрепятственно предаваться своим идеям. Пусть он теперь уже не писал и не читал, но его многолетняя привычка обладала еще очень большой силой, и он не мог терпеть кого-либо рядом с собой, чтобы при этом не впадать в величайшее беспокойство. Тем же самым обернулась подобная попытка, предпринятая мной в одно прекрасное летнее утро.

Теперь мы были посвящены во все тайные привычки *Канта*, и на следующий день чаепитие прошло лучше. Но еще долго мой утренний приход казался *Канту* сном или видением.

Теперь, с новым слугой все шло согласно желаниям. *Кант* вздохнул свободно, зажил спокойным и довольным. Если в его обслуживание закрадывалась маленькая ошибка, он сам себе объяснял, что новый слуга еще не мог вникнуть во все его мельчайшие привычки.

Совершенно особенным проявлением слабости *Канта* было следующее. Обычно записывают то, что не хотят забыть; но *Кант* в своей книжечке писал: имя *Лампе* теперь должно быть полностью забыто.

*Кант* находил неприличным, как уже упоминалось в опубликованных заметках, называть своего слугу по фамилии, потому что он еженедельно принимал у себя за столом двух дипломированных коммерсантов<sup>5</sup>.

Поэтому во время одного веселого обеда, после прочтения очень смешного стихотворения, которое я не буду здесь приводить и которое оканчивается словами: «Его должно *Йоханес* звать», — было решено впредь называть слугу не *Кауфман*, а *Йоханес*.

Приблизительно в это время, а именно зимой 1802-го, каждый раз после еды на правой стороне его живота появлялось возвышение диаметром в несколько дюймов, которое на ощупь было очень закругленным и вынуждало его каждый раз после еды расстегивать одежду, так как иначе живот был

---

<sup>5</sup> Фамилия *Kaufmann* целиком совпадает с немецким названием профессии «коммерсант» («торговец»).

бы сдавлен. Хотя это явление не влекло за собой особых трудностей и последствий для него, оно длилось целых полгода, но прекратилось без применения каких-либо целебных средств, так что ему больше не было неприятно после прошедшего с большим аппетитом приема пищи «проветривать» свою одежду. При всей слабости его тела у него еще были внутренние ресурсы, чтобы противостоять недугам и вырывать даже те из них, которые в нем уже укоренились.

Весной я посоветовал ему выходить на прогулки. Уже много лет он не выходил из дома, потому что на последних своих прогулках он очень утомлялся. Публично сердечное спасибо я адресую незнакомому мужчине, который оказал столько внимания слабому, уставшему старику: едва заметив, что Кант во время прогулки у портового элеватора, частично от усталости, частично для обзора прислонился к стене, он сразу подставил ему скамейку, которой Кант с благодарностью воспользовался, не зная, откуда она взялась. Ввиду слабости его ног было неразумно советовать ему пешие прогулки. И так как несколько предпринятых попыток не оправдали надежд, предпочтение было отдано прогулкам в коляске. Кант, по принятому им правилу, никогда не посещал свой сад. Но когда после многих лет, в течение которых он его не видел, весной 1802-го его туда привели, все было для него так ново, что он совсем не мог там ориентироваться. Справка, которую я собирался дать ему о состоянии его сада и его сочетании с домом Канта, показалась ему скучной. Он сказал, что совершенно не понимает, где он находится, чувствует себя неудобно, как на необитаемом острове, и тоскует по месту своего обитания. Все эти ощущения были следствиями его обыкновения постоянно находиться в стенах своего кабинета, которыми он сейчас не был защищен и отсутствие которых возбуждало в нем тоску по ним и делало его стесненным. Для объяснения всех самых чудачковых проявлений его дряхлости зачастую достаточно было принять во внимание лишь одно обстоятельство, казавшееся незначительным, — и все загадки мгновенно разгадывались. В результате постоянного общения с Кантом я мог очень легко с ним объясниться. Меня не удивляло это его чудачковатое и поразившее бы любого другого поведение в саду или где-то еще. Хотя пребывание на свежем воздухе длилось лишь несколько минут, оно его несколько смутило. Тем самым, однако, был сделан шаг к тому, чтобы вновь привыкнуть к [свежему] воздуху, которым Кант так долго не дышал. Повторные попытки имели уже больший успех. Иногда он выпивал в своем саду чашку кофе, чего раньше никогда не делал, и вообще находил перемену прежней обстановки приятной. Но он лишь принимал предложение, поступившее от другого. Сам бы он с трудом пришел к идее отважиться на перемену.

Наступление весны уже и раньше не производило на него особого впечатления, он не томился, как другие, в ожидании конца зимы и скорого прихода этого бодрящего времени года. Когда солнце поднималось выше и воздух казался теплее, когда распускались и расцветали деревья и я обращал на это его внимание, он холодно и равнодушно отвечал: «Это ведь каждый год так, и теперь так же». Лишь одно событие вызывало в нем столько радости, что он с большим нетерпением ждал его повторения. Уже одно только воспоминание о приближающейся весне, которая принесет его с собой, задолго до его наступления поднимало ему настроение; приближение этого события делало его каждый день все внимательнее и накаляло ожида-

ние до предела; а свершение его вызывало в нем большую радость. И этой единственной радостью, которую, при всем богатстве ее прелестей, доставляла ему природа, было возвращение славки, которая пела у его окна в его саду. Даже уже в безрадостном возрасте у него оставалась эта радость. Когда его подруга заставляла слишком долго себя ждать, он говорил: «Должно быть, в Апенниннах еще очень холодно». И он с большой нежностью желал этой своей подруге, хотя и она сама, и ее детеныши вряд ли залетали к нему снова, хорошей погоды в ее дальнем путешествии. Он вообще был другом наших меньших братьев из царства птиц. Он любил угощать чем-нибудь воробьев, гнездившихся под его крышей, особенно когда они садились на окно его тихого кабинета, что очень часто бывало ввиду тишины, которая там царила. По их меланхоличному, монотонному и часто повторяющемуся чириканью он любил заключать о постоянной холодности их самок, называл их меланхолическими фальшивящими певцами, изможденными и угрюмыми, как олени, и жалел этих одиноких существ. Я считал нужным упомянуть эти обстоятельства как проявления его добродушия по отношению даже к тем животным, которых пыгаются истребить. Потому что даже мелкие яркие штрихи вносят свою лепту в оживление колорита. А как много подобных небольших штрихов и точек, оттеняющих целое, не представлено на характерном портрете Канта!

Он все более привыкал к свежему воздуху, ставшим для него совсем чужим, и наконец была сделана героическая попытка покататься. Кант пытался отказаться. «Я в коляске развалюсь, как тряпка», — говорил он. Я с мягким упорством настаивал на попытке проехать с ним хотя бы только по той улице, на которой он жил, уверяя, что повернем сию секунду, как только ему станет тяжело ехать. Лишь поздним летом при температуре 18 градусов по Реомюру<sup>6</sup> эта попытка была сделана. Нашим спутником в этой поездке до небольшого загородного местечка перед Штайндаммскими воротами, где мы вместе с моим другом сняли на несколько лет квартиру, был г-н С. Р. Н.<sup>7</sup>, уважаемый, верный, неунывающий и до конца преданный друг Канта. Кант сразу помолодел, когда после нескольких лет снова увидел знакомые ему места, вспомнил названия башен и общественных зданий. Как он при этом радовался, что у него нашлось так много сил, чтобы сидеть прямо и, не чувствуя особых неудобств, браво трястись в коляске. Радостные прибыли мы в пункт назначения. Он выпил чашечку кофе, которая уже стояла наготове, попробовал выкурить полтрубки, чего прежде никогда не бывало, с удовольствием послушал стаю поющих птиц, которые часто задерживались на этом месте, различая каждый напев и называя каждую птицу. Так он пробыл там около получаса и, довольно возбужденный, но насытившийся удовольствием, поехал домой.

Я не рискнул везти его на открытое многолюдное место, чтобы не представлять взглядам любопытствующих, которые он бы, возможно, тягостно перенес, и не портить ему наслаждение неловким положением объекта, которого все в упор разглядывают. Публика давненько его не видела, поэтому

<sup>6</sup> 22,5 градуса по Цельсию; Рене Антуан Реомюр (1683—1757) — французский естествоиспытатель, предложивший температурную шкалу и спиртовой термометр для нее, которые в настоящее время практически не используются.

<sup>7</sup> Имеется в виду Konsistorialrat Hasse — Иоганн Готфрид Хассе (1759—1806), консисторский советник и профессор теологии.



когда коляска еще стояла перед его дверью, вокруг нее уже собрались даже люди с положением, чтобы увидеть *Канта*, возможно в первый и последний раз. После нескольких посещений моего, точнее, располагавшегося возле моей квартиры сада, с наступлением осени наши выезды в том году закончились. Хотя перемещения и утомляли *Канта*, но спал он на следующую ночь крепче и на следующий день был бодрее и свежее, и блюда казались ему вкуснее и лучше переваривались.

С приближением зимы он чаще обычного жаловался на приступы, которые называл вздутием в устье желудка и которые ни один врач не мог объяснить и тем более вылечить. Благотворна при этом была для него отрыжка; прием пищи приносил короткое облегчение, позволял забыть об этом недуге и умалял его уныние. Зима проходила в частых жалобах: уставший от жизни, он желал посвятить себя какой-либо цели и говорил: «Он больше не может приносить пользу миру и не знает, куда себя девать». Его состояние было загадочным: он не чувствовал болей, но все его поведение и его высказывания все же можно было свести к пренеприятнейшим телесным ощущениям. Я подбадривал его мыслями о предстоящих летних поездках: он говорил в растущей градации сначала о поездках, потом о загородных поездках и, наконец, о дальних поездках. С тоскливым нетерпением он думал о весне и лете, но не с точки зрения их общей прелести, а лишь как о временах года, позволяющих путешествовать. Задолго до их прихода он писал в своей книжечке: «июнь, июль и август — три летних месяца» (именно в том смысле, что в это время лучше всего путешествовать). Размышление об этих путешествиях творило чудеса для ободрения *Канта*. Его манера желать чего-либо была столь внушающей симпатию, что оставалось только сожалеть о невозможности умерить его тоску с помощью волшебства.

Теперь, когда теплота его тела уменьшалась, он позволял часто отапливать свою спальню. Но входить в нее кому-либо он позволял неохотно. В этой комнате также стояли его книги, числом около 450, часть из которых были подарками от их авторов. Так как в молодости он был библиотекарем в местной библиотеке Королевского замка, где хранилось так много превосходных сочинений, и особенно описаний путешествий (золотой прииск для его физической географии), и поэтому в дальнейшем он получал от издателей новинки для ознакомления, то ему было легче, чем иному преподавателю высшей школы, собрать богатую книжную коллекцию.

В конце зимы он начал жаловаться на неприятные, пугающие его галлюцинации. Часто у него в ушах назойливо звучали мелодии народных песен, которые он слышал в ранней юности от певших на улице мальчишек, и, даже изо всех сил абстрагируясь, он не мог от них избавиться. Часто к нему цеплялись глупые школьные считалки из детских лет. Позвольте привести одну из них: *Vacca, eine Zange, forceps, eine Kuh, rusticus, ein Knebelbart; ein nebulo bist du*<sup>8</sup>. Считается, что в глубокой старости такие глупости навязчиво преследуют стариков и мучают их своим произвольным повторением. Именно так было у *Канта*. Эти и похожие на них бессмысленные стишки, как и сны, беспокоили его по ночам: первые мешали ему засыпать, вторые ужасно пугали его, когда он еще крепко спал и похищали его ночной покой, это незаменимое для слабеющих стариков средство вос-

<sup>8</sup> Дословно: «Корова, щипцы, щипцы, корова, крестьянин, усы торчком, мошеник — ты» — рифмованная смесь немецких и латинских слов.

становления их сил. Почти каждую ночь он дергал за шнур от колокольчика, протянутый через потолок его спальни в находившуюся прямо наверху комнату слуги. Сколь бы быстро ни вскакивал и ни спешил слуга, он постоянно приходил, когда уже было поздно. Своего хозяина, который уже выпрыгнул из кровати и который, как уже упоминалось, совершенно потерял чувство времени, он часто находил уже в прихожей. Слабость его ног, которая, особенно сразу после подъема с кровати, была усугублена горизонтальным положением тела, в которое Кант, почти пеленая себя, укладывался на несколько часов, привела к нескольким случаям, которые хотя не причинили ему вреда, не считая синяков, но последствия которых, если бы их вовремя не предотвратили, могли бы стать смертельными.

Поэтому я решился сделать Канту такое предложение, насчет которого я, разумеется, с большой долей уверенности мог предполагать, что он будет оттягивать его принятие так долго, насколько это возможно. Предложение заключалось в следующем: позволить его слуге спать с ним в одной комнате. Я знал, какую власть имела над Кантом долгая привычка. Он упирался, однако всегда с мягкой усмешкой. Я укорял его тем заверением, которое он сам мне добровольно высказывал: он намеревался принимать предложения, даже если не видел в них пользы и не считал их нужными. И дело было решено так, как я хотел. Вначале еще раздавались некоторые жалобы на то, что присутствие другого нарушает его сон. Но я апеллировал к необходимости этой меры и к его обещанию, данному мне, следовать моим советам, и вскоре последние жалобы смолкли. Спустя короткое время Кант уже сердечно благодарил меня за эту меру: она не только увеличила его доверие ко мне, но и ускорила принятие и реализацию прочих мер, которые у меня по отношению к нему вызревали.

Его беспокойства, или вздутия, в устье желудка становились всё более сильными. Он даже пробовал применить некоторые лекарственные средства, которые помогали ему в борьбе с другими недугами: несколько капель рома на сахар, нефту, магнезию<sup>9</sup>, леденцы от вспучивания; но это всё были только паллиативы, а радикальному лечению мешал его преклонный возраст. Его страшные сны становились все ужаснее, и его фантазия собирала из отдельных сцен этих снов целые кошмарные трагедии, впечатлительные от которых было настолько гнетущим, что не отпускало его еще долго после пробуждения. Почти всю ночь ему снилось, что он окружен разбойниками и убийцами. Это ночное беспокойство из-за снов еще более усиливалось тем, что в первые мгновения после пробуждения он принимал своего слугу, спешившего к нему на помощь и успокоение, за убийцу. Днем мы говорили о всей ничтожности его страхов; Кант сам смеялся над собой и писал в своей книжечке: «Не давать волю *ночным грезам*».

О том, что спальня Канта была принципиально затемнена, уже было сказано. Если же он замечал снаружи сумерки или еще дневной свет, то принимал это за искусственно созданную иллюзию, которая его пугала. Поэтому по моей инициативе на ночь стали зажигать огонек. Сначала он не мог его переносить; однако сперва его поставили перед комнатной дверью, а потом уже — в ночном светильнике, который для предотвращения всякой тени стоял в чаше с водой — в самой комнате, но так, чтобы его свет не падал прямо на спящего Канта. Он и к этой перемене вскоре привык.

---

<sup>9</sup> Нафта — разновидности лечебной нефти и продуктов из нее; магнезия — порошок на основе сульфата магния.

Он вдруг начал постоянно иносказательно выражаться. По причине бессонницы, которая стала частой, он захотел себе часы с боем; я одолжил ему одни. Хотя бой у них был самый простой, он, не привыкший слышать ночью вообще какие-либо звуки, называл их звучание флейтовой музыкой, и при этом каждый день просил меня оставить их ему. Он повторял свою просьбу, а я — свое торжественное заверение в том, что не заберу их назад до тех пор, пока он сам от них не откажется. Но вскоре он пожаловался на беспокойство, которое ему доставлял громкий звон. Я обмотал молоток тканью и тем самым помеха была устранена.

Аппетит его был теперь уже не так хорош, как раньше. Это казалось мне недобрым предзнаменованием. На это могут ответить: *Кант* имел обыкновение принимать более сытный обед, чем средний обед человека с крепким здоровьем. Но я не могу с этим согласиться, и вот почему: *Кант* кушал только один раз в день. Если сложить вместе все, что поглощает тот, кто утром пьет кофе и заедает его хлебом, а еще, пожалуй, принимает второй завтрак, потом хороший обед и, наконец, ужин, — то станет ясно, что масса еды, которую поглощал Кант, была не такой уж большой, особенно ввиду того, что он никогда не пил пиво. Этому напитку он был заклятый враг. Когда кто-то умирал после лучших лет своей жизни, *Кант* говорил: «Наверное, он пил пиво». Когда говорили, что у кого-то другого недомогание, почти сразу следовал вопрос: «Он пьет по вечерам пиво?» Из ответа на эти вопросы *Кант* потом составлял пациенту прогноз. Он характеризовал пиво как медленно убивающий яд, точно так, как один молодой врач отозвался Вольтеру о кофе. И даже ответ, который получил от Вольтера этот врач: «Да он уж действительно должен быть медленно убивающим, ведь я пью его вот уже 70 лет», — и который могли дать *Канту* заядлые пивоманы, не переубедил бы его. Не поспоришь с весомостью аргументов, приводившихся *Кантом*: вмывание пищеварительных соков, ослизнение крови, ослабление мочеточных каналов являются следствиями частого наслаждения этим напитком, и их наступление ускоряется малоподвижным образом жизни. Кант считал, что пиво по меньшей мере — главная причина всех разновидностей геморроя, который ему был известен только по названию. Правда, было одно время, когда он заметил у себя нечто подобное; но его тело не требовало *beneficij naturae*<sup>10</sup>, и *Кант* признал, что он ошибся. Невыносимыми были для него все те люди, которые постоянно что-то с наслаждением смакуют: было приятно слушать, как Кант умел перечислять все виды наслаждений этих чревоугодников и описывал весь распорядок их дня. Но при этом описании было также заметно, что рисуемая картина была только идеалом.

Весной последнего года его жизни, 22 апреля, в кругу всех его сотрапезников был солидно и весело отпразднован день его рождения. Задолго до того дня праздник стал предметом наших радостных разговоров, и задолго до того дня мы стали считать, сколько до него осталось. Он заранее радовался этому дню. Но и здесь подтвердилось наблюдение, что его теперешние друзья существовали больше в ожиданиях и приятных фантазиях, чем в реальности. Его очень грела надежда вновь увидиться с его старым другом, военным советником S.<sup>11</sup>, в обществе которого он провел так много

<sup>10</sup> Милости природы (лат.).

<sup>11</sup> Иоганн Георг Шеффнер (Johann Georg Scheffner, 1736–1820) — военный советник и госслужащий, масон, сотрапезник Канта. Известен больше всего как поэт и переводчик.

приятных часов в доме почившего к тому времени G. R. фон Гипшеля<sup>12</sup>. Уже одно только сообщение, насколько далеко продвинулась подготовка всего необходимого для этого праздника, вызывало у него радостное восклицание: «О, ну ведь это замечательно!» Когда же день настал и компания собралась, он и хотел бы возрадоваться, но истинного наслаждения от всего этого не испытал. Шумок, [возникший] при общении многочисленной компании, от которого он отвык, как будто одурманивал его, и уже можно было догадаться, что это последнее собрание такого рода и с такой целью. В себя он полностью пришел только когда остался, уже переодетый, наедине со мной в своем кабинете и говорил мне о подарках, которые надо было вручить по этому случаю его прислуге. Кант ведь никогда не мог радоваться, если не видел вокруг себя радостными других. Поэтому при каждой поездке он настаивал на подарке для его слуги. А я хотел, чтобы он наслаждался покоем, и рекомендовал ему то, что было для него привычным. Он всегда был против всего торжественного и необычного, против всех желаний счастья в таких случаях, и особенно против их пафоса, в котором он всегда находил что-то наивное и смешное. За мои небольшие усилия по устройству этого праздника он благодарил меня в этот раз совершенно непропорциональным образом и в таких выражениях, которые были лишь верными признаками одолевавшей его слабости. Возможно, на такое умиление и такие экзальтированные выражения благодарности его вдохновила мысль о достижении столь почтенного возраста. Двадцать четвертого апреля он записал в своей книжечке: «Как в Библии: жизнь наша продолжается 70 лет, в особых случаях 80, и если она этого заслужила, то только стараниями и трудом».

Лето приближалось, и те грезившиеся поездки загород и за границу должны уж были начаться. В один прекрасный день, когда я зашел к нему рано, я был очень озадачен, когда он со всей серьезностью и взвешенной, видимо, решительностью стал поручать мне направить часть его средств на покрытие расходов, связанных с предстоящей поездкой за границу. Я не возражал, но постарался поточнее выведать причину этого столь скорого решения, которая оказалась в первую очередь в том, что он больше не мог переносить тяжелое вздутие живота. Я ответил ему: *post equitem sedet atra cura*<sup>13</sup>; то же самое могло случиться и с его вздутием живота, от которого он не смог бы так легко избавиться. Отрывки из древних стихотворений всегда сильно действовали на *Канта*, эта цитата также очень быстро изменила его решение, которое он принял лишь из-за своей слабости, не зная, как быть, и не видя выхода для избавления от этого вздутия. Теперь на повестке дня был разговор о недельном пребывании в сельской местности в маленьких крестьянских хижинах, о том, чтобы разделить с крестьянами их грубую пищу, о путевых остановках в грязных жилищах провинциалов, где можно оказаться в окружении крыс, мышей и всякого рода насекомых. Непокколебимая серьезность и щемящая тоска, с которой он, вскидывая вверх со-

<sup>12</sup> Теодор Готлиб фон Гиппель (Theodor Gottlieb von Hippel, 1741–1796) — писатель-сатирик, масон, высокопоставленный чиновник и глава Кёнигсберга, пыгавшийся провести реформы в духе Просвещения; сотрапезник Канта. G. R. = Geh. Sanitätsrat — «тайный советник от медицины», неоплачиваемый почетный титул.

<sup>13</sup> Позади всадника сидит мрачная забота (Гораций. Оды. III, 1, 37–40). В переводе А. А. Фета:

Он на корабль — и забота на палубе;  
Он на коня — и печаль за плечами.

мкнутые руки и поднимая к небу глаза, вымаливал условия смягчения нашей поездки, заставили меня сильно сомневаться о том, нужно ли выполнять его желание путешествовать даже не то что полностью, а хотя бы и частично. Я предложил ему посещенный в прошлом году загородный домик. «Хорошо, — был ответ *Канта*, — если только он далеко». На что я заметил: любой путь может быть далеким, если проезжать его окольно и продлить наше пребывание там до осени.

И только уже в середине года, ближе к самому длинному дню, мы поехали в тот домик на природе. При посадке в коляску было озвучено решение: «Только вправду далеко!», — но мы еще не доехали до ворот, а путь уже показался ему слишком далеким. Кое-как мы приехали. Кофе стоял готовый, но едва он успел его выпить, как мы снова сели в коляску и были вынуждены возвращаться. Обратный путь, который длился едва ли 20 минут, показался ему ужасно долгим. Его слабость, которая представляла ему время таким растянутым, превратилась в нетерпение, почти одолевавшее его, но при этом он еще пытался удержаться от того, чтобы винить меня в предпринятой поездке или ее затянутости. *Неужели это никогда не кончится?* — был вопрос, который он повторял каждое мгновение с таким напором и с такой выразительностью, будто задавал его впервые. Я при этом оставался абсолютно спокойным и пустил все на самотек, потому что уверенно предполагал, что все это будет забыто, когда он вернется в свою обычную спокойную обстановку. Сколько радости в нем было, когда только показался впереди его дом! Недовольный дальней поездкой и таким долгим отсутствием, он дал себя раздеть, стал более умиротворенным, спал крепко, и никакие сны его не беспокоили и не пугали. Вскоре после этого он с удвоенным энтузиазмом заговорил о поездках, дальних поездках и поездках за границу; но последующие выезды, с небольшими различиями, в точности повторяли первый. Их было всего примерно восемь: либо в тот домик, либо в мой сад, либо в еще один сад — вот и все, что было предпринято в том году. Но все же они возымели большой положительный эффект для него, особенно прогулочные поездки за город. Они возродили в нем те идеи его молодости, которые часто его очень обнадеживали. Упомянутый загородный домик стоит на пригорке под высокой ольхой. Внизу в долине течет маленький ручеек с водопадом, шум которого привлек *Канта*. Эта экскурсия пробудила в нем забытую картину, которая предстала его воображению с величайшей живостью. Позже он с почти поэтической искусностью, которой *Кант* обычно старался избегать в своих устных рассказах, описал мне наслаждение, доставляемое ему в молодости прекрасным летним утром в летнем домике дворянского поместья, на высоких берегах Алле (Alle)<sup>14</sup>, с чашкой кофе и трубкой. Он вспомнил при этом беседы в компании хозяина этого поместья и генерала фон. Л.<sup>15</sup>, который был его хорошим другом. Все это было для старика таким живым, как будто тот вид все еще был перед ним и он еще наслаждался той компанией. Чтобы понастоящему раззадорить его, достаточно было только перевести разговор на ту обстановку — и он сразу стал бы веселым и радостным. Вообще даже

<sup>14</sup> Приток Преголи, русское назв. Лава, польское — Лына (Łyna). Речь идет о деревне Ярнолтово (Jarnoltowo) в современной Польше, нем. назв. Groß Arnsdorf. Здесь Кант в 1750—1754 годах был домашним учителем трех сыновей майора фон Хюльзена, затем отправился работать в той же должности у графа Кайзерлинга. Поместье сгорело во время Второй мировой войны. В 1990 году на здании поселковой школы установлена памятная доска о деятельности Канта в этих местах.

<sup>15</sup> Генерал фон Лоссов (von Lossow).

приятнейшая беседа не могла его усладить, если в ней не упоминались приятные события из прошлого. А уж обратный случай, когда он сам вспоминал их, а кто-то другой побуждал его к этому, и ощущение собственного могущества, отсюда возникавшее, становилось для него в высшей степени благотворным и бодрящим. Пробуждать в нем это благостное чувство было достойнейшим занятием, которому предавались все его соотрапезники. Но для этого требовалось уже знать его идеи, желания и опыт. Поэтому перед входением в его комнату я старался раздобыть подробную информацию обо всем, что произошло в мое отсутствие. О каждом сне, им увиденном, каждом высказанном им желании, каждом произошедшем случае я пытался заранее узнать. При его новой манере говорить намеками это облегчало мне задачу понимать его. Я уже знал обо всем, что он собирался сказать. Порой он с негодованием жаловался мне на свою слабость, но от любого неприятного объекта я отвлекал его и, перебивая рассуждением или хотя бы вопросом из физики или химии, старался сделать этот новый объект разговора привлекательным для него — а объект неприятный оказывался, таким образом, забыт, приятному же доставался новый интерес.

Этим летом даже секундное общение удовлетворяло его больше, чем в другое время музыка приближающегося парадного шествия гвардейцев. Когда они проходили вблизи его дома, он приказывал открыть средние двери задней комнаты, в которой он жил, и слушал ее внимательно и с удовольствием. Можно было подумать, что глубокомысленный метафизик, как *Гайдн*, находил удовольствие в той музыке, которая отмечена гармонией, смелыми переходами и естественно сглаженными диссонансами, либо в произведениях настоящих художников звука. Но это был не тот случай, что подтверждается следующим обстоятельством. В 1795 году он вместе с ныне покойным G. R. фон Гиппелем посетили меня с целью послушать мой бogenфлюгель (*Bogenflügel*)<sup>16</sup>. Адажио с партией фляжолета, который похож по звуку на гармонику, казалось ему скорее даже противным, чем безразличным. Но инструмент с открытой крышкой, игравший в полную силу, понравился ему необычайно, особенно когда этот инструмент подражал исполнению симфонии целым оркестром. Никогда он не мог без отвращения вспоминать о том, как однажды слышал музыку траура по Моисею Мендельсону, которая, по собственным словам *Канта*, застыла в бесконечном тяжелом визге. При этом он замечал, что, по его мнению, она должна была бы выражать и другие чувства, например чувство победы над смертью (героическая музыка) или чувство совершенства. Поэтому он уже готов был сбежать от той музыки. После этой кантаты он больше не прослушал ни один концерт, чтобы не мучиться от подобных неприятных чувств. Рокочущую военную музыку он предпочитал всем остальным жанрам.

В конце лета и особенно осенью его силы стали истощаться очень быстро. Когда слуги не было дома и *Кант* оставался один, ему было достаточно один раз упасть, чтобы лишиться жизни. Однажды во время такого отсутствия слуги он упал так сильно, что лицо и спина оказались в больших кровоподтеках. После применения теденовской аркебузады<sup>17</sup>, которую я тут же достал, и то и другое удалось привести в норму без помощи врача. Ему всегда было трудно терпеть физическую боль, однако эти непривыч-

<sup>16</sup> Неударный струнно-клавишный музыкальный инструмент, подобный роялю, струн которого касаются смычком, похожим на скрипичный. Большинство модификаций сделаны в Германии в XVIII веке, в дальнейшем распространения не получил.

<sup>17</sup> *Thedensche Arquebusade, mixtura vulneraria acida* — разновидность примочек для обработки ран, прежде всего огнестрельных.

ные удары судьбы он сносил с мужественным самообладанием и философски смотрел на то, что было не изменить и конец чего надо было просто спокойно ждать.

Этот последний случай все же показал, что ему было опасно оставаться одному даже на мгновение. Я по предварительному согласию устроил к нему в дом его сестру<sup>18</sup>, которая была похожа на него как лицом, так и добротой, и работала в приюте престарелых при госпитале Св. Георга. Она уже много лет получала от него прибавку к пенсии, которой вполне хватало на то, чтобы при ее скромных потребностях ни в чем не испытывать нужды. Ее пенсия была удвоена по возрасту и еще больше увеличена при принятии в его дом. Она уже много лет была вдовой, побыв замужем всего чуть меньше года. Хотя она была всего на 6 лет младше брата, она не только сохранила все свои духовные и физические силы, но и оставалась еще очень бодрой и свежей. *Кант* не привык делить с кем-то свое жилище, поэтому сначала она устраивалась позади его стула, чтобы ее присутствие не мешало ему. Но даже к ее обществу он мало-помалу привыкал. Ее скромное, сдержанное поведение, ее внимательность к тем моментам, когда ее брату больше не хотелось общаться, привели к тому, что он стал ее очень ценить. Быть рядом с ним ее заставлял не только долг ближайшего кровного родственника, но и то, что у нее, как женщины добродушной, женщины с поистине большим сердцем, были терпение, кротость и снисходительность для заботы о нем при его растущей слабости. Хотя ее взяли в дом *Канта*, чтобы она только была рядом с ним, своей повседневной деятельностью она не просто оказывала реальную помощь и поддержку, но делала это с сестринской нежностью. У нас никогда не возникало ничего, подобного борьбе за сферу влияния, никогда не было раздора между ней и слугами *Канта*. *Кант* вообще был с ней единомышлен.

*(Продолжение следует.)*

*Перевод с нем. А. С. Зильбера под ред. И. Д. Копцева*

### О переводчиках

*Зильбер Андрей Сергеевич* – ст. преп. кафедры философии и культурологии Калининградского государственного технического университета, a-zilb@ya.ru

*Копцев Иван Демьянович* – д-р филол. наук, профессор кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Балтийского федерального университета им. И. Канта, ivan.kopcev@mail.ru

### About translators

*Andrey Zilber* – senior teacher, Department of Philosophy and Culturology, Kaliningrad State Technical University, a-zilb@ya.ru

*Prof. Ivan Koptsev*, Department of Language Theory and Cross-Cultural Communication, Immanuel Kant Baltic Federal University, ivan.kopcev@mail.ru

---

<sup>18</sup> Младшая сестра Барбара.